

история о «сворачивании» «естественного человека», еще одна вариация сюжета «Сна смешного человека», но вполне жизненная и глубоко реальная. Однако, в отличие от героя Достоевского, рассказчик Носилов признает свою вину перед вогулами как чувство, которое он должен был испытывать, но – по существу не испытывает. Он не собирается «складывать руки», борьба, так сказать, продолжается. Но «теперь надо его (вогула. – Е.С.) защищать от цивилизации, как это ни грустно и горько» (с. 155). Причины его глубинной самоуверенности лежат в том же научно-рациональном, позитивистском мировоззрении, которое когда-то подвигало его к просвещению вогулов, к попыткам привести цивилизацию в их забытый Богом и людьми край. Вогулы были и остаются для Носилова «дикарями», потому что они по-прежнему далеки от культуры. Эта номинация как раз и выдает в позиции автора установку человека, смотрящего на живущих в лесах людей сверху вниз: «дикари» и «дети» нуждаются в постоянном присмотре и образовании, которые призваны осуществить русские пришельцы, колонизаторы края. Сейчас колонизация сибирско-уральского Севера осуществляется варварскими методами, но все еще можно поправить, если «пробудить» общественность, если внушить людям, стоящим у власти, правильные рецепты освоения природных богатств этих мест, если заставить промышленников идти рука об руку с наукой и просвещением... Утопичность и прекраснодушие представлений Носилова оставим без комментариев.

#### **Примечание**

<sup>1</sup> Носилов К.Д. У вогулов: Очерки и наброски. СПб., 1904. С. 1–2. Далее текст цит. по этому изданию с указанием в скобках страниц.

*Н.В. Суржикова  
(Екатеринбург)*

#### **Культурный шок военного плена: от потрясения к преодолению (по воспоминаниям И. Пехмана)**

Вплоть до конца XX в. продиктованная политико-идеологическими императивами установка на стерилизацию прошлого страны надолго превратила военный плен в маргинальную тему, имевшую негативную маркировку в общественном сознании и исключенную из поля зрения профессиональных историков. Активная проблематизация данной тематики, произошедшая за последние десятилетия, породила внушительную историографическую традицию<sup>1</sup> и вместе с ней – дезориентирующую иллюзию того, что научный поиск в этом направлении близок к завершению. Однако даже повер-

хностное знакомство с трудами отечественных авторов показывает, что специальные исследования, сфокусированные в основном на изучении политической истории советского плена, практически обошли стороной его составляющие и означающие культурного свойства.

Военный плен, в основе которого лежит принуждение и подавление, что априори предполагает объектность пленных и ограниченность их социальных возможностей, безусловно, трудно воспринимать как открытый креативный диалог различных культур. Но отказать плену в статусе одного из способов междивизиационной и межэтнической коммуникации не менее сложно. В этом смысле военный плен – не изнанка войны, не ее особый пласт, а опыт открывания и познания чужого, сохранившийся в непосредственной – «оперативной» – памяти ее участников. Такая постановка вопроса, в свою очередь, позволяет аттестовать советский плен как новую для обездороженных солдат противника социокультурную реальность, погружение в которую было неизбежным. Легко предположить, что резкая смена обстановки – языка, климата, пищи, людей и их поведения, мотивы которого не поддавались пониманию и, следовательно, предсказыванию, – дезориентировала военнопленных, превращая окружающий их мир в мутный и расплывчатый. Стрессогенное воздействие инокультурной среды на пленных обрело, в конечном итоге, все те характеристики, которые в 1960 г. были агрегированы американским ученым К. Обергом в понятие «культурный шок» (culture shock)<sup>2</sup>. Пренебрегая теоретико-методологическими интерпретациями культурного шока, выработанными западной культурной антропологией и значительно концептуализированными впоследствии кросс-культурной психологией<sup>3</sup>, отметим, что в случае с военнопленными это состояние обнаруживало себя сразу и во всем, и даже в написанных спустя десятилетия воспоминаниях бывших узников системы УПВИ/ГУПВИ НКВД/МВД СССР<sup>4</sup> его приметы хорошо различимы. Симптомы культурного шока воспроизведены, в частности, в мемуарах бывшего австрийского военнопленного И. Пехмана<sup>5</sup>, в жизни которого в 1945–1947 гг. случилось вынужденное «путешествие» на Урал с остановками в лагерях и рабочих батальонах Свердловской области.

Первым проявлением культурного шока у военнопленных стало потрясение от столкновения с чужим языком, а также неизвестными мимическими и пантомимическими кодами, которые использовались носителями русскоязычной лингвокультурной общности. В день пленения, 2 мая 1945 г., И. Пехман и его товарищи по несчастью впервые услышали русское «давай, давай!», приняв его за прозвучавший на австрийском диалекте приказ «вайтер, вайтер!» и, соответственно, не сразу поняв суть адресованных им слов<sup>6</sup>. Но непонимание пленными чужого наречия, как выяснилось позже,

было лишь верхушечным признаком лингвистического шока. Он также выражался через состояние удивления и смущения, которое возникало, когда военнопленные слышали в русской речи языковые элементы, звучащие на их родном языке странно или неприлично. И. Пехман так описывает неожиданные «трудности перевода»: «Смех у русских вызывало мое имя, когда один из моих товарищей называл меня вместо Йозеф – Юрр. Для немцев это звучало обычно. Сначала мы не знали, что обозначает этот смех и ухмылки, пока одному из нас не пришло в голову, что у русских с такого же слова начинается ругательство: "... твою мать". Оказывается, в этом-то и было все дело. Точно такая же ситуация была у нас, когда русские кого-то звали и для нас это было необычно»<sup>7</sup>. Было очевидно, что концентрические круги привычных языковых ассоциаций не срабатывали, поскольку другой язык изначально предполагал другие ассоциации. Вместе с тем, при всей очевидности этнодифференцирующей функции языка удивительным открытием для военнопленных стало то, что бытовавшая в немецко-говорящей среде традиция называть всех русских Иванами имела свой русский аналог. Выяснилось, что русские считали всех немецких и австрийских солдат Фрицами<sup>8</sup>, тем самым облачая стереотипы национального сознания в особые вербальные знаки, используемые в сфере реальной коммуникации и сейчас.

Помимо языкового фактора, источником культурного шока у военнопленных очень скоро стала специфика советской культуры потребления, повседневного быта и материальной инфраструктуры в целом. Открытия в этой области не заставили себя ждать. В дороге на Восток, голодной и долгой, состоялось первое знакомство военнопленных с русскими сухарями, которые зачастую были их единственной пищей в течение нескольких дней. «Это такие твердые, как камни, остатки хлеба, – объясняет И. Пехман в своих мемуарах. – В них было одно преимущество: их можно было долго держать во рту, и от этого возникало чувство, что желудок наполняется»<sup>9</sup>. Судя по емкому и с точки зрения русского человека излишнему описанию, немецких или австрийских сухарей в природе не существовало, а, возможно, где-то не существует и по сей день, учитывая, что во многих странах Западной Европы нормой считалась и считается подача к столу теплого, а еще лучше горячего хлеба.

Надо сказать, что всего за три недели плена И. Пехман, как и любой пленный, прочно усвоил с детства известную русскому человеку истину «Хлеб – всему голова». В день своего 18-летия при раздаче довольствия в транзитном лагере в Кюстрине (ныне польском Костшине) И. Пехману удалось получить дополнительную порцию хлеба, что, по его собственной оценке, было самым дорогим подарком в то время. Последующие лагерные будни лишь подтвердили, что хлеб в Стране Советов являлся мерилom всего, будучи как самой

дорогой и универсальной «валютой», так и основой формирования внутрелагерной иерархии. «Добившимся положения в обществе» у военнопленных считался тот, кто получал или «зарабатывал» больше хлеба, процедура, при которой клейкий «сталинский кирпичик» делился на части, практически превратилась в ритуал, а работа в лагерной «хлеборезке» была самой завидной<sup>10</sup>.

Настоящий культурный шок у И. Пехмана вызвало состоявшееся в плену знакомство с таким «милым существом», как вошь. При этом раздражали не столько сами паразиты, ставшие, как и клопы, привычным атрибутом лагерной жизни, сколько профилактические меры борьбы с ними. В регулярном бритье головы, подмышек и прочих частей тела, где могли плодиться вши, было что-то от оболванивания и лишения индивидуальности, устремления к всеобщей подобности и безликости, что-то унижительное и потому вызывавшее чувство отчуждения. Привыкнуть к неприятной во всех отношениях процедуре было крайне сложно еще и потому, что она была связана с сегрегацией пленных по шкале лояльности к власти, когда рядом с «обычными» военнопленными жили привилегированные антифашисты, на которых обязанность систематических походов в лагерную «цирюльню» не распространялась<sup>11</sup>.

Несмотря на время от времени проводившиеся дезинфекции, расстаться со вшами не было никакой возможности, и борьба с ними стала главным занятием военнопленных в свободное время. Как вспоминает И. Пехман, антисанитария всегда была неизменным спутником общей неустроенности лагерного быта, реалии которого шокировали на каждом шагу. В голове благополучного немецкого бюргера или австрийского фермера никак не укладывалось, что кое-как сооруженные из веток, коры и листов укрытия служили для пленных палатками, доски, проложенные из одного конца барака в другой в несколько этажей, – кроватями, старые консервные банки с проволокой вместо ручки – посудой, большая яма, кадка в углу помещения или дыра в полу с воронкообразной приставкой – туалетом, сено или солома – постельными принадлежностями<sup>12</sup>.

Примитивными были не только условия содержания, но и условия труда. Больше всего поражало отсутствие, казалось бы, простейших орудий труда, не говоря уже о его механизации. На фабрике, где И. Пехман работал токарем, он должен был собирать и уносить стружку. В качестве транспортного средства у него был стальной лист размером около квадратного метра с проволокой, которая служила ручкой. Вся эта конструкция заменяла тачку и была очень неудобной, так как тащить ее во двор волоком приходилось через все помещение. На работах по возведению деревянных срубов сразу удивило отсутствие «знакомого еще с детства станка и плотничьего топорика», на прокладке железнодорожного полотна – набивание ос-

нования путей галькой ручными металлическими стержнями, на погрузке и разгрузке леса – передвижение вагонов посредством человеческой силы. Бесконечно тяжелый физический труд стал символом неволи, и после возвращения домой, глядя на транспорт, груженный лесом, И. Пехман почти автоматически крестился, памятуя о пережитом в плену. Поразительно, но даже нехитрая работа военнопленного-санитара в советском лагере превращалась в долгую и выматывающую процедуру из-за наличия в госпитале единственного градусника на всех<sup>13</sup>.

Поскольку труд являлся неременной обязанностью пленных, физическая усталость вскоре стала постоянной, что закономерно порождало невеселые мысли, страхи и опасения. Перспектива серьезно заболеть была одной из самых пугающих; заболев же, оставалось только молиться, чтобы болезнь сопровождалась повышенной температурой, ведь у русских, как оказалось, больным считался только тот, у кого она была<sup>14</sup>. В любых других условиях это открытие вызвало бы снисходительную улыбку, но здесь и сейчас оно неприятно шокировало. Еще больше шокировала перспектива быть зарытым на лагерном погосте, и дело было не только в осознании возможности своей безвременной гибели. Смерть на войне была обыденностью и по инерции оставалась таковой и в плену, который для оказавшихся в советских лагерях людей воспринимался как продолжение войны. Ужасало другое. «Я до сих пор не могу забыть того кошмарного состояния, которое у меня было, когда я увидел своего умершего друга раздетым на санях», – пишет И. Пехман о своем участии в захоронении пленного Ф. Бирбаумера в марте 1946 г.<sup>15</sup> Вид безжизненного тела, беззащитного своей нагогой, страшил гораздо больше, чем вид убитых на поле брани солдат. Шок от увиденного усиливался с мыслью о том, что снятые с покойного вещи сдавались «экономными» русским на склад как казенное имущество или продавались расторопной лагерной обслугой на черном рынке<sup>16</sup>.

Примечательно, что эффект забывания негативного, характерный как для коллективной мемориальной культуры, так и для индивидуала, в случае с воспоминаниями об аскетичной повседневности советского плена у И. Пехмана почти не проявился, невзирая на более поздние наслоения. Вместе с тем, следует отметить, что, если причины атрофирования советской материальной культуры еще поддавались транскрибированию, исходя из реалий послевоенного времени, то расшифровка символики социально-политических отношений являлась для пленных иностранцев проблематичной. Соционормативная сфера советской культуры, предельно догматизированная и ритуализированная, была настолько богата загадками, что декодировать ее особым образом категоризованные и объективированные элементы было не просто. Наблюдателю в таком по-

ложении раскрывалось лишь то, что можно квалифицировать, как церемониальное пространство культуры. В воспоминаниях И. Пехмана назван целый ансамбль факторов, характеризовавший тупики политизированного советского мышления в их процессуальных проявлениях. К примеру, шок у военнопленных вызвали образы, которыми оперировала советская пропаганда. И. Пехман и его товарищи не могли себе представить, что их вчерашних «вождей» можно так изобразить: «...Портреты ведущих деятелей Германии, прежде всего изображение Гитлера, ... можно было узнать по прическе и усам, с дьявольской рожей, похожей на волчью, оскаливших зубы и пожирающих детей. Геринг был похож на свинью, украшенную орденами, у Геббельса были косолапые ноги, он бежал из Москвы на Запад по горящим русским деревням»<sup>17</sup>.

Эскалация ненависти к врагу как инструмент мобилизации воющего общества была понятна вчерашним солдатам, но она, к их удивлению, продолжалась и в послевоенное время. Мобилизационные мотивы и модели поведения, видимо, глубоко укоренившиеся в общественном сознании, на бытовом уровне обретали свою конкретность в милитаризации повседневной жизни. Не без сарказма И. Пехман подчеркивает, что бесконечные построения и переклички в лагере составляли «культовое занятие русских», а муштра и муки, которым подвергались советские солдаты, чьи казармы находились по соседству, была вполне сопоставима с «порядками у пруссаков во времена их военного расцвета»<sup>18</sup>. Прикосновение к неожиданному проявлению чужой ментальности провоцировало новый приступ культурного шока: «...Мы думали о том, что с победой Красной Армии будет побежден и немецкий милитаризм. Мы не предполагали, что именно здесь столкнемся с настоящим ужасом»<sup>19</sup>.

Необъяснимым курьезом казалось пленным и то, что при любви русских к военной дисциплине, нормированию и регламентации порядка вокруг больше не становилось, скорее, наоборот. Разрыв между пропагандируемыми идеалами и действительностью пленные очень быстро разглядели, в частности, в стахановском движении и соцсоревновании. В их откровенно условном характере И. Пехман убедился не понаслышке, побывав и в роли саботажника, и в роли передовика производства, ничем при этом не «отличившись» среди других военнопленных ни в том, ни в другом случае<sup>20</sup>. В попытках по превращению пленных в антифашистов или, по крайней мере, сочувствующих советскому режиму приоритет формы над содержанием был не менее заметен. Однажды в преддверии 1 Мая военнопленные «приобщались» к официальной советской «обрядовости», простояв на улице, на пронизывающем ветру, в течение нескольких часов: «При этом от всех присутствующих наций говорилось на всех языках. Сначала выступил русский офицер, затем венгерский, не-

мецкий, румынский, а также выступали союзники этих наций, чаще всего это были офицеры. На все языки переводилось только русское обращение. В конце праздничного дня каждая группа должна была спеть кроме своего «интернационала» еще и политическую боевую песню. Около полудня этот праздник, наконец-то, закончился. После этого была еда получше прежней и после обеда мы были свободны»<sup>21</sup>. Донести до пленных иностранцев сакральное значение действия никто не потрудился, равно как и в ситуации прибытия в лагерь комиссии. Само это слово вызывало у русских волнение и трепет. «Комиссия была поводом для того, что все должны раздеться догола, прежде всего убирались к приходу комиссии следы уничтожения клопов. Для этого нары пропитывались керосином, ужасная вонь! Жилища заново белили, и под страхом наказания была запрещена расправа с клопами, пока не кончится комиссия, – вспоминает И. Пехман, – ... Даже пол необходимо было циклевать, пускай и осколками стекол, – дурацкая работа! В такой день давали даже особую еду. А потом проходила комиссия, в большинстве случаев с генералом во главе, по баракам, не говоря пленным ни слова и не интересуясь их пожеланиями и жалобами, одна показуха!»<sup>22</sup>. Подобные процедуры шокировали тотальным безразличием, которое выказывалось военнопленным, что усиливало у них чувства бесправия и беспомощности, полной социальной некомпетентности и одиночества.

Пытаясь преодолеть психологический дискомфорт, вызванный культурным шоком как необходимостью на время отказаться от «своего» и принять «иное», И. Пехман, как и его товарищи, вынужден был мобилизовать все имевшиеся в запасе духовные и физические потенции. Защитная реакция на агрессивное воздействие незнакомой социокультурной среды не заставила себя ждать, проявившись в убежденности пленных в их культурном превосходстве над русскими. В ход шли как старые стереотипы, так и актуальные наблюдения. Услышанные от кого-то или собственные реплики И. Пехмана типа «у Бога и русских все возможно», «Будьте внимательны, смотрите, чтобы русские ничего не стащили!», русские «работали очень медленно и плохо, ... в то время как мы, пленные, ... выполняли работу со всей немецкой основательностью, точно и правильно» наглядно демонстрируют, как постепенно формировался негативный образ чужого для пленных мира<sup>23</sup>.

Шутки, анекдоты и едкие замечания про «аборигенов» на самом деле были плохим лекарством. С одной стороны, они были прививкой, необходимой для иммунизации пленных от кризиса идентичности, но с другой – способствовали дезинтеграции лагерного сообщества по этнокультурному принципу. Немецкоязычные пленные оценивали свою культуру как лучшую не только по отношению к

местной. По их мнению, совершенно «бескультурными» были и вороватые румыны, и жестокие венгры, и хитрые японцы, к тому же все они «страдали» от врожденной лени<sup>24</sup>.

В плену родная страна казалась поистине раем земным, и тоска по ней заставляла искать среди «солагерников» земляков, с которыми можно было поговорить о доме. «...Уже это, – пишет И. Пехман, – давало почувствовать, что мы больше не одиноки»<sup>25</sup>. Более того, в бесконечных разговорах о родине с земляками Г. Курцманном, И. Бреннером и Р. Штескалем можно было на время забыть-ся, мысленно отгородившись окружением «своих» от враждебной реальности. Однако реализация стратегии изоляции спасала от культурного шока лишь на время.

Как известно, действие культуры носит принудительный характер, и без конца находиться с ней в конфликте еще никому не удавалось. Не удалось это и военнопленным, вынужденным – осознанно или нет – постигать особенности советского социокультурного ландшафта. Адаптация пленных начиналась с усвоения ими определенного набора лексических единиц. «Мы выучили только те русские слова и выражения, – констатирует И. Пехман, – которые мы слышали и которые для нас были важными: хлеб, каша, кухня, столовая, кушать, пожалуйста, спасибо, иди сюда, скоро домой»<sup>26</sup>. В результате сложилась весьма специфическая социоречевая практика, анализ которой позволяет сегодня безошибочно выявить те точки, где контакт военнопленных с инокультурной средой оказался наиболее тесным<sup>27</sup>.

Кроме преодоления или, по крайней мере, смягчения языкового барьера, адаптация пленных предполагала включение механизмов повышенного самоконтроля. Не вникая в суть культурных различий, И. Пехман и его товарищи, пытались контролировать собственные слова и действия, дабы они не были истолкованы «неправильно» носителями чужого языка и образа жизни. Пленным иностранцам оставалось либо откровенно «обезьянничать», либо попросту молчать, ничем не выдавая своего истинного отношения к происходящему. Так, во время представления в лагерном клубе самодельных номеров, поставленных с участием антифашистов, остальные пленные «аглюдировали высмеиванию своего бывшего вождя и притворялись, будто они никогда о нем по-другому и не думали»<sup>28</sup>. На митинге, приуроченном к отправке пленных на родину, они «хором» промолчали, когда один из советских офицеров взывал к их чувству благодарности Советскому Союзу, которому они «задолжали в день по 50 копеек»<sup>29</sup>.

Как показывает анализ воспоминаний И. Пехмана, арсенал методов борьбы пленных иностранцев с культурным шоком был достаточно скромным. Институциональный дизайн советского плена, определявшийся логикой геттоизации, предохранял от столкновения с чужим как отвоевавшихся вражеских солдат, так и абори-



генов. Даже при условии более или менее успешного овладения пленными русским языком и достижении приемлемого уровня повседневной компетентности, среда не принимала их и «выталкивала» назад, в ту среду, которую можно назвать «невидимым гетто» – в круг соплеменников и «сокультурников». Но именно то, что лагерная среда и принимала, и отталкивала одновременно, застраховало военнопленных от проблем самоидентификации, которые в других условиях могли иметь продолжение в процессах маргинализации и аномии (психическое состояние человека, когда для него ничто не свято и не обязательно).

Не будет преувеличением сказать, что культурный шок советского плена заставил не одну сотню людей пережить не самые приятные моменты в жизни. Он выводил из равновесия, нарушая привычный и удобный ход вещей, побуждая военнопленных принимать меры, направленные либо на возвращение утраченного баланса, либо ведущие к новой ступеньке развития и самоактуализации личности. Обретенный в годы плена опыт не только закалял тело и укреплял дух, но и расширял горизонты человеческого восприятия. Пленные, сами того не замечая, начинали лучше понимать источники собственного этноцентризма и приобретали новые взгляды на природу культурного многообразия. Воспитанная советским пленом терпимость к новому и необычному учила жить в постоянно меняющемся мире, в котором все меньшее значение имеют границы между странами и все более важными становятся непосредственные контакты между людьми. Поэтому вслед за Дж. Берри переживания пленных иностранцев от их пребывания в СССР смело можно называть стрессом аккультурации, очередной ступенью или этапом в циклах обновления, которым подвержен человек при смене эпох, обстоятельств и окружения.

### Примечания

<sup>1</sup> Библиографию темы см. в кн.: Конасов В.Б., Кузьминых А.Л. Немецкие военнопленные в СССР: историография, библиография, понятийный аппарат. Вологда, 2002. С. 101–167; Суржикова Н.В. Иностранцы военнопленные Второй мировой войны на Среднем Урале (1942–1956 гг.). Екатеринбург, 2006. С. 287–345.

<sup>2</sup> Oberg K. Culture shock: Adjustment to new cultural environments // *Practical Anthropology*. 1960. № 7. P. 177–182.

<sup>3</sup> Adler P. The transitional experience: An alternative view of cultural shock // *Journal of Humanistic Psychology*. 1975. № 15. P. 13–23; Berry J.W. Psychology of acculturation // In J. Berman (Ed.), *Cross-cultural perspectives: Nebraska symposium on motivation*. Lincoln, 1990. P. 457–488; Berry J.W., Annis R.C. Acculturative stress: The role of ecology, culture and differentiation // *Journal of Cross-Cultural Psychology*. 1974. № 5. P. 382–406; Berry J. W., Kim U., Minde T., Mok D. Comparative studies of acculturative stress // *International Migration Review*. 1987. № 21. P. 491–511; Bochner S. (Ed.). *Cultures in contact*. Oxford, 1982; Bock Ph. K. (Ed.). *Culture Shock. A Reader in Modern Cultural Anthropology*. N.Y., 1970; Furnham A., Bochner S. *Culture Shock: Psychological reactions to unfamiliar*

environments. London, 1986; Preston J. Cultural shock and invisible walls // SUNY International Programs Quarterly. 1985. № 1 (3/4). P. 28-34; Redden W. Culture shock inventory manual. New Brunswick, 1975.

<sup>4</sup> УПВИ/ГУПВИ НКВД/МВД СССР – Управление (с января 1945 г. – Главное управление) по делам военнопленных и интернированных, созданное в структуре НКВД СССР в сентябре 1939 г. и ликвидированное в 1953 г. с передачей его функций и контингентов Тюремному управлению МВД СССР.

<sup>5</sup> Pechman J. Dawail, dawail Meine Kriegsgefangenschaft in Ural 2 Mai 1945 – 17 Dezember 1947. Wien, 1997. (См. русский перевод О.В. Дородных в кн.: Суржикова Н.В. Иностранцы военнопленные Второй мировой войны на Среднем Урале (1945–1956). Екатеринбург, 2006. С. 346–402).

<sup>6</sup> Суржикова Н.В. Иностранцы военнопленные Второй мировой войны на Среднем Урале... С. 349.

<sup>7</sup> Там же. С. 384–385.

<sup>8</sup> Там же. С. 353.

<sup>9</sup> Там же. С. 357, 360.

<sup>10</sup> Там же. С. 363, 368, 371, 372, 373, 380, 386, 390.

<sup>11</sup> Там же. С. 358, 389.

<sup>12</sup> Там же. С. 354, 355, 359, 362, 364, 365, 382, 399.

<sup>13</sup> Там же. С. 362, 367, 370, 379, 390, 394.

<sup>14</sup> Там же. С. 379.

<sup>15</sup> Там же. С. 374–375.

<sup>16</sup> См. о том же в кн.: Герлах Х. В сибирских лагерях. Воспоминания немецкого пленного. 1945–1946 гг. М., 2007. С. 72, 74.

<sup>17</sup> Суржикова Н.В. Иностранцы военнопленные Второй мировой войны на Среднем Урале... С. 352.

<sup>18</sup> Там же. С. 363, 397.

<sup>19</sup> Там же. С. 371.

<sup>20</sup> Там же. С. 376, 380, 396.

<sup>21</sup> Там же. С. 377.

<sup>22</sup> Там же. С. 393.

<sup>23</sup> Там же. С. 369, 380, 384.

<sup>24</sup> Там же. С. 369–370, 372, 374, 376.

<sup>25</sup> Там же. С. 358.

<sup>26</sup> Там же. С. 389.

<sup>27</sup> См. об этом: Суржикова Н.В. Русские языковые вкрапления в речи немецко-говорящих военнопленных Второй мировой войны // «Aus Sibirien-2005»: научно-информационный сб. Материалы II Междунар. научно-практ. конф. «Стеллеровские чтения». Тюмень, 2005. С. 119–121.

<sup>28</sup> Суржикова Н.В. Иностранцы военнопленные Второй мировой войны на Среднем Урале... С. 381.

<sup>29</sup> Там же. С. 399.

*М.В. Суворов  
(Екатеринбург)*

### **Формирование кадров советского учительства на Урале в 1920–1930-е гг. (к историографии проблемы)**

Проблема изучения истории формирования учительских кадров в переломные для нашей страны периоды не потеряла своей актуальности и сегодня, когда государством проводится широко-